

9. Петров С. М. Проблема историзма в мировоззрении и творчестве Пушкина // А. С. Пушкин. М.; Л., 1951.

10. Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы. Л., 1974.

Ю. М. НИКИШОВ  
(Тверь)

## ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ПОСЛАНИЯ ПУШКИНА «К МОРЮ»

Философская тональность послания Пушкина «К морю» (1824) отчетливо различима; «высокий философский характер» [1, с. 93] стихотворения отметил С. А. Фомичев и другие исследователи [2]. Расставаясь с Одессой и морем, поэт создал на редкость проникновенное произведение. Стихи предельно интимны, передают атмосферу свидания один на один, но задушевный разговор включает глобальные темы отношений мира и человека.

Адресат послания — море, но оно — «ты», живое создание, что проведено последовательно: «свободная стихия», «гордою красой», «друпа ропот», «зов», «пустный шум», «шум призывный», «отзывы», «своенравные порывы», «прихотью», «неодолимый», «ты ждал, ты звал» [3]. Слово «море» вынесено в заглавие и точно обозначает предмет, но в тексте оно возникает лишь в концовке. Может быть, это произошло потому, что средний род слова несколько мешает высочайшей степени антропоморфизма. Через метафору «моей души предел желанный» поэт переводит обращение в мужской род; позже мужской род получит подкрепление посредством синонима «океан». В свою очередь это обозначение отсылает к пушкинской элегии «Погасло дневное светило» («Волнуйся подо мной, угрюмый океан»). Мужской род обращений в полной мере соответствует серьезному, мужскому характеру разговора.

Кольцевое обрамление лирики периода южной ссылки элегией «Погасло дневное светило» и посланием «К морю» не раз отмечалось в пушкиноведении [4, 5]. Мне бы хотелось добавить, что оба произведения объединены мотивом дороги — не повседневной, привычной, но рубежной — из прошлого в будущее. «К морю» внешне статично, поскольку не выходит за рамки последнего и потому трепетного свидания, но мыслям поэта нет предела, и тема дороги (дороги жизни) в

непосредственном воплощении здесь возникает дважды, собственно, и определяя содержание лирических медитаций за рамками любовных обращений к морю.

Первый раз это происходит как воспоминание о несостоявшемся побеге из отечества; он назван — «поэтический побег», и формула эта очень емкая: она может значить буквальное — побег поэта, но поскольку побег не состоялся, он остался мечтательным, «поэтическим». Можно поразиться той искренности, с которой поэт ведет разговор с океаном. Мотив побега разрабатывался в лирических набросках «Завидую тебе, питомец моря смелый...» (1823) и «Презрев и голос укоризны. .» (1824), но это были стихи не для печати, оставленные в черновиках. «К морю» было напечатано: выходит наружу тайное желание, оно не для чужих ушей — в особенности потому, что еще и не оставлено (позади лишь морской его вариант).

Ты ждал, ты звал... я был окован;

Вотще рвалась душа моя:

Могучей страстью очарован,

У берегов остался я...

Здесь мысль поэта, перегруженная эмоциями, выражена неясно и допускает двоякое прочтение. Первое: я остался у берегов по своей воле, потому что был очарован могучей страстью, и она оказалась сильнее, чем порыв к тебе. Второе: я был очарован могучей страстью к тебе, и все же остался у берегов — в силу обстоятельств, которые не смог преодолеть. Думается, второе прочтение вернее, его готовит признание «я был окован».

Появляясь во второй раз, мотив дороги обретает подчеркнуто философский характер. Лирические медитации возникают как ответ на серию тревожных вопросов:

О чем жалеть? Куды бы ныне

Я путь беспечный устремил?

И еще: «Теперь куда же Меня б ты вынес, океан?» Ответ на эти вопросы драматизируется в связи с обостренным ощущением понесенных человечеством утрат: ушли из жизни «властители дум» Наполеон и Байрон; «произведение превратилось в лирическое раздумье о судьбе человека эпохи Наполеона и Байрона, о жестокой власти исторических обстоятельств над духовно не смирившейся личностью» [1, с. 93].

Вопросы поэта заданы в сугубо личной форме, от имени «я», но речь идет именно о судьбах человечест-

ва. Личное и общее пересекаются. Поэт на берегу моря с прощальным приветом: ему предстоит путь «в леса, в пустыни молчаливы...»; это воспринимается как новый рубеж жизни. Но и человечество без своих недавних кумиров тоже на распутье: «Мир опустел...». И мало отметить лишь временное совпадение этих этапов: совершая предназначенное лично ему, поэт вместе с тем активно участвует в духовной жизни человечества.

Взгляд поэта в будущее достаточно мрачен. Тому много причин: и крен общественной жизни в реакцию, и тяжелые личные обстоятельства; нельзя забывать, что еще длится томительная полоса духовного кризиса Пушкина 1823 — начала 1825 годов.

Поэт приходит к суровому выводу:

Судьба земли повсюду та же:  
Где благо, там уже на страже  
Иль просвещение, иль тиран.

Это размышление парадоксально: если негативный ореол понятия «тиран» устойчив, то в связке с ним встретившееся «просвещение» негативный оттенок обретает ситуативно (Д. Д. Белый отмечает сходные построения в одновременно создававшихся «Цыганах»).

Интересно заметить, что сознание многих читателей и издателей пушкинский парадокс отторгло: в вариантах многочисленных копий и даже публикаций популярного стихотворения пушкинская строка редактируется, параллельное понятие эмоционально уравнивается с опорным «тиран»:

И самовластье и тиран  
Иль самовластье, иль тиран  
Иль суеверье иль тиран  
Непросвещение иль тиран  
Коварство, злоба иль тиран

Встречается и вовсе не пушкински вялый вариант строки, с полным отсечением параллельного понятия: «Стоит неистовый тиран» [3, т. II (2), с. 859].

Но Пушкин написал то, что хотел написать: «просвещение» в связке с «тираном» — не обмолвка. Есть и другой авторский вариант, кстати, принятый в ряде изданий, в том числе в «малом» академическом десятитомнике:

Где капля блага, там на страже  
Уж просвещение иль тиран [6 с. 181].

Тут мысль та же, только выражена еще резче.

Пушкинскую мысль не трудно понять, труднее объяснить. Дело в том, что сама антитеза — с одной сто-

роны, «свободная стихия», с другой стороны (в одних скобках), просвещение и (иль) тиран — узнаваема. Это всего лишь вариант сентиментального руссоистского противопоставления порочной цивилизации естественной природе: уже нет разграничений, что в самой цивилизации есть добро, а что — зло. Для чего же поэт платит запоздалую и для себя не характерную дань идеалам миновавшего века?

Сразу надо отклонить предположение о настроенческой случайности: под настроение не пишутся поэмы, а в «Цыганах» на самом деле в центре герой, презревший «оковы просвещения». Но, отмечая сходство поэмы и послания, необходимо указать и на существенное между ними различие. В «Цыганах» и «К морю» совпадает тема, но не позиция. Отчасти причиной тому жанр. В поэме дается всеохватное осмысление проблемы: помимо явного противостояния сына цивилизации и детей природы конфликтующие стороны (обе!) представлены в присущих им собственных диалектически понятых противоречиях. Не будем умалять возможности лирики постигать сложнейшие противоречия мира, но учтем и активную тенденцию к эмоциональному единству лирической медитации. Элегическая печаль послания «К морю» питается несколькими источниками, но они легко сопрягаются: боль разлуки — с болью утрат, неопределенность личного положения — с неопределенностью духовного распутия человечества. В достаточно сложной гамме чувств можно выделить се доминанту, но тогда выяснится, что, несмотря на бесприсветность взгляда поэта в будущее, стихи не оставляют гнетущего впечатления: утраты перекрываются обретениями, главенствует любовь.

Прощай же, море! Не забуду  
Твоей торжественной красоты  
И долго, долго слышать буду  
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы  
Перенесу, тобою полн,  
Твои скалы, твои заливы,  
И блеск, и тень, и говор волн.

Услышим музыку этих чарующих строк. Пластичен и гибок их ритм благодаря разнообразию внутренних интонационных пауз. Возьмем только заключительное двуступище. Сначала симметрично поровну поделенная строка (твои скалы — твои заливы). Затем сдвинутые

в начало строки два сильных коротких удара, как удары волн о скалу (и блеск — и тень) — и с ускорением, откатной волной полустышие (и говор волн). Воистину, любовь поэта к предмету стихов можно видеть и в любовной отделке стихов.

Непререкаемое обаяние мощной стихии (и это чувство обостряется болью утраты) объясняет эмоциональный тон послания. Тут просто нет и не может быть места критическому осмыслению «свободной стихии», как не может быть места скепсису в пылком объяснении влюбленного.

В пушкиноведении обычно отмечается, что для Пушкина прощание с морем стало равнозначным прощанию с романтизмом. В общем виде это верно, однако конкретная ситуация обычно не учитывается: на нее накладывается знание о последовавших творческих поисках Пушкина. Поэтому вырисовывается схема: Пушкин прощается с романтизмом и идет к реализму. В перспективе так оно и было, только в ситуации послания «К морю» нет прозрений контура будущего. Более того, теряя на какое-то время ощущение перспективы, поэт делает шаг назад, к ценностям, которые, казалось бы, уже устарели. Если это консерватизм, это здоровый консерватизм. Пушкину вообще не свойственно стремление крушить былые ценности «до основания»; даже «обломки самовластья» воспринимаются годными хотя бы на то, чтобы на них написать «наши имена». Такая позиция не означает замкнутости в былых ценностях: их переоценка неизбежна, что и подтверждают «Цыганы», — но как временное прибежище, как опора, отталкиваясь от которой в нужный момент и будет совершен рывок вперед, они плодотворны.

Поэт находит выход в ситуации, которая представляется безнадежной. Пока не видится ничего отрадного в лесах, в молчаливых пустынях. Но есть обретенное, четленное, оно дает духовную крепость.

За конкретным решением можно видеть и вечный завет поэта. Если мрак закрывает очи, если не видно путеводной звезды, не рвись наобум вслепую, лучше отступи немного, найди надежную опору. Это как Антей, даже опрокинутый навзничь, прикасался к земле — и обретал новую силу.

Прощание с романтизмом у Пушкина не конфликтно рядом с «прощай» стоит «не забуду». От романтизма кое-что берется с собой в новую дорогу: поэт

перенимает то, что составляет фундаментальную сущность романтизма, источник его жизнестойкости — пересоздающую функцию. «Перенесу...» Море в Псковской глуши не заплещет. Но поэтическое воображение всесильно. Пусть только в душе — но если есть опора, можно противостоять невзгодам жизни.

### Примечания

- 1 Фомичев С. А. Поэзия Пушкина: Творческая эволюция Л, 1986
- 2 Степанов Н. Л. Лирика Пушкина. Очерки и этюды 2-е изд М, 1974
- 3 Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т, М., 1937—1949. Т II С. 331—333
- 4 Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1813—1826) М; Л, 1950
- 5 Томашевский Б. Пушкин Том второй. 2-е изд М, 1990
- 6 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10 т Л, 1977—1979 Т II.

В С БАЕВСКИЙ  
(Смоленск)

### КИНЖАЛ <ЛУВЕЛЯ, ТЕНЬ БЕРТОНА>

Глава десятая «Евгения Онегина» порождает много вопросов. Комментаторы уже посвятили немало внимания стиху «Кинжал Л тень Б» [1, с. 520].

Первое слово в пушкинском автографе читается уверенно, остальные предположительно.

Относительно второго слова разногласий как будто нет: обыкновенно считают, что следует читать «Кинжал Лувеля». В 1820 г. французский рабочий республиканец Лувель (Louis Pierre Louvel, 1783—1820) заколол родственника короля, возможного наследника престола герцога де Берри (Charles-Ferdinand de Bourbon, duc de Berry, 1778—1820). Убийство произошло 13 февраля (по старому стилю), а 19—20-го Вяземский уже писал об этом А. И. Тургеневу и Пушкину из Варшавы [2, с. 13]. В предыдущих стихах Пушкин говорит о революционном движении в Испании, Италии и Греции, так что упоминание вслед за этим французского революционера представляется вполне уместным. Поступок Лувеля произвел на Пушкина такое впечатление, что однажды в апреле он принес в театр и открыто показывал его портрет с надписью «Урок царям» [3].

О третьем слове *тень* мы можем сказать, что его положение на третьей стопе четырехстопного ямба в

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ  
ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ им. Г. С. СКОВОРОДЫ

ИСТОРИКО-  
ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
СБОРНИК

к 60-летию  
ЛЕОНИДА ГЕНРИХОВИЧА  
ФРИЗМАНА

Харьков  
1995